

Николай  
**ПОМЯЛОВСКИЙ**

*Очерки бурсы*



# Николай Герасимович Помяловский Молотов

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172957](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172957)*

*Помяловский Н. Г. Очерки бурсы: Повести: Эксмо; М.; 2007*

*ISBN 978-5-699-20545-5*

## Аннотация

Впервые опубликовано в журнале «Современник» (1861, № 10) за подписью «Николай Помяловский».

В повести «Молотов» читатель встречается с героем спустя десять лет после событий, описанных в «Мещанском счастье».

# Содержание

МОЛОТОВ

4

Конец ознакомительного фрагмента.

63

# Николай Герасимович ПОМЯЛОВСКИЙ МОЛОТОВ

Осень глубокая.

На Екатерининском канале стоит громадный дом старинной постройки. Он выходит своими фронтонами на две улицы. Из пяти его этажей на длинный проходной двор смотрит множество окон. Барство заняло средние этажи – окна на улицу; порядочное чиновничество – средние этажи – окна на двор; из нижних этажей на двор глядят мастеровые разного рода – шляпники, медники, квасовары, столяры, бочары и тому подобный люд; из нижних этажей на улицу купечество выставило свое тучное чрево; ближе к нему, под крышами, живет бедность – вдовы, мещане, мелкие чиновники, студенты, а ближе к земле, в подвалах флигелей, вдали от света божьего, гнездится сволочь всякого рода, отребье общества, та одичавшая, беспашпортная, бесшабашная часть человечества, которая вечно враждует со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность, скрадывает их, мошенничает; это отребье сносится с дном всего Петербурга – знаменитыми домами Сенной площади. Так и в большей части Петербурга: отребье и чернорабочая бедность на дне столи-

цы, на них основался достаток, а чистенькая бедность под самым небом. В этом дому сразу совершается шесть тысяч жизней. Он представляется громадным каменным брюхом, ежедневно поглощающим множество припасов всякого рода; одни нижние этажи потребляют до осьми телег молока, огромное количество хлеба, квасу, капусты, луку и водки. На дворе беспрестанно раздаются голоса и гул, слышен колокольный звон к обедне, стук и гром колес по мостовой, в аптеке ступа толчет, внизу куют, режут, точат и пилят, бьют тяжко молотом по дереву, по камню, по железу; кричат разносчики, кричат старцы о построении храмов господних, менестрели и трюверы нашего времени вертят шарманки, дуют в дудки, бьют в бубны и металлические треугольники; танцуют собаки, ломаются обезьяны и люди, полишинеля черт уносит в ад; приводят морских свинок, тюленя или барсук; все зычным голосом, резкой позой, жалкой рожей силится обратить на себя внимание людское и заработать грош; а франты летят по мостовой, а ступа толчет в аптеке, и тяжело-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по железу.

Вечер. Тридцать минут седьмого.

В том же громадном доме, в среднем этаже, есть квартира на улицу окнами, которую занимает семья чиновника Игната Васильича Дорогова. Вся семья приютилась около круглого стола в небольшой комнате, освещенной стеарином. Направо сидит женщина лет сорока в чепце безукоризненной бе-

лизны, с лицом умным, моложавым и серьезным – это мать семейства, Анна Андреевна Дорогова; налево супруг ее – читает газету; старшая дочь Надя, девушка лет двадцати, вышивает; в то же время, под ее руководством, меньшая сестра занялась азбукою; здесь же приютился и гимназист с латинской грамматикой; два младших брата играют в медные солдатики; самый меньшой спит в люльке... Тихо... Всякий занят своим делом; изредка перекидываются незначительными фразами, которые для всех нас заготавливает повседневная жизнь. Слышен шелест газеты, треск в комнате, шорох платья, монотонные складывания, тихий смех и разговор играющих детей, шелканье маятника и удары люльки... Уединилась эта жизнь, и глухо, точно из другого царства, пробивается сквозь двойные рамы шум и грохот городской. Таких тихих вечеров много бывает в этой семейной жизни, и мало слов говорится в те вечера. И зачем слова? Откуда взять материал для речей? У всякого возникает своя мысль, возникают и зреют думы и мечты, воспоминания и образы. Игла матери пробирается по краю платка, из-под ноги раздаются удары колыбели, сбоку складывания дочери, а мысль ее летит по всему пространству прожитой жизни и хочет заглянуть в будущую. В душе девушки развиваются фантазии и воздушные замки, обдумывание разных планов и секретов, воспоминание домашней и институтской жизни. Многие женщины любят рукоделье, потому что во время его остается полная свобода для незанятой мысли. Эта семейная группа в настоя-

щую минуту полна смысла и мирного счастья, а между тем тут нет душевной тревоги, страстей, насильственных острот и фраз. Когда во всем Петербурге окна запираются двойными рамами, тогда в низших слоях среднего сословия начинается домашняя, комнатная, запертая в кружки жизнь, и в это время многих манило в светлые, чистые, тихие комнаты Дороговых, потому что зимой скучно и всякий ищет случая приютиться к чужому мирному гнезду. Такого гнезда ищут все бездетные и бессемейные; часто холостяк, одуревший в уединении или разгуле, заходит в те дома, где горит тихая жизнь, хотя бы для того только, чтобы без дела и развлечения, а просто так, сложа руки, посидеть за семейным круглым столом. Иной и отец семейства бежит опрометью из своего дома, потому что там дети плачут, у жены зубы болят, прислуга расчета просит. А вот и бедненько одетый чиновник заглянул случайно в светлую комнату, и у него от зависти навернулись слезы на глазах. «Вот как живут-то!» – думает он. Но бедняк не знает, как трудно вырабатывается и добывается эта мирная жизнь. Если бы предложить ему, чтобы он прошел весь путь, после которого достигается такая жизнь, он, вероятно, махнув рукой, сказал бы: «Нет, трудно!» – и поплел бы опять горемычную жизнь, подумав про себя: «О господи боже, где бы денег украсть на честный манер, так чтобы можно было жить среди честных людей!»

Да, не сразу устроилась эта жизнь; лет сто, целый век должен был пройти прежде, нежели создалась эта мирная семей-

ная группа, которую мы видим в светлой, уютной комнате за круглым столом. Лет сто назад, когда еще не было громадного дома старинной постройки, жили в Петербурге старик со старухой. Старик шил дрянные сапоги, а старуха пекла дрянные пироги, и такими трудами праведными они поддерживали с бедой пополам свою дрянную жизнь. Но дочь их Мавра была умна, хороша, выучилась грамоте, читала историю и Псалтырь, Четьи-Минею и сонник, Бову и новейший песенник. Скоро случилось, что она осталась круглой сиротою, без состояния, без покровителей. На помощь явился Чижииков, мелкий-мелкий чиновник; ему понравилась Мавра Матвеевна, и он женился на ней. Тогда-то обнаружились ее таланты. Уже в медовый месяц началась ее трудовая жизнь; вставала она в четвертом часу, ложилась в одиннадцать, стряпала, стирала, шила, мыла, а потом, когда благословил ее бог, нянчила детей – все сама. Научилась она бабничать, знакома была с мелкими торговками, умела все купить по крайне дешевой цене. При всех недостатках, Мавра Матвеевна с изумительным тактом сводила концы с концами и даже откладывала кое-какие гроши в запас, не на черный день, а, как мечтала она, на светлый. Жизнь ее день ото дня становилась светлее. В квартире Чижиикова незаметно стали являться довольство и приличие, которых до того он не знал. Он, личность незначительная, смиренная, жившая до сих пор впроголодь, сразу подпал влиянию своей жены, что вышло для него же пользы. Он чувствовал себя хорошо и спокойно, не

мог нарадоваться на свою хозяйку, на бедно, но чистенько одетых детей. Однако Мавра Матвеевна предоставила мужу не одно наслаждение жизнью; она доставала ему переписку нот и бумаг, по ее настоянию он выучился делать конверты, коробочки, вырезать из алебаstra зайцев с качающимися головами, лепить из воску мышей, кошек и медведей. Гордость маленького чиновника сначала оскорблялась подобными занятиями; но когда под руками жены мыши и коробки превратились в рубли и полтинники, а рубли и полтинники вносили достаток в его семью, он подавил в себе гордость и удвоил рвение к занятиям всякого рода. Между тем бог благословил Мавру Матвеевну – у ней было много детей. Когда знакомые по этому поводу соболезновали ей, она отвечала: «Хоть еще столько!» Так и вышло. Увеличение семьи составляет для иных несчастье, а здесь оно повело к лучшему. Деятельный дух матери перешел и к детям; они с первого молоду привыкали к хозяйству; шестнадцатилетняя дочь Анна заправляла всем домом. Тогда Мавре Матвеевне стало удобнее отлучаться от семьи; она появлялась на всех аукционах, во многих домах бабничала, доставала детям работу из хороших магазинов, и таким образом, многотрудным рачением в продолжение двадцати с лишком лет, Марфа Матвеевна единственно своим умом и энергиею сумела вывести семью из тяжелой, одуряющей бедности. Наконец она почти руками могла ощупать ту мечту, которая когда-то представлялась ей так далека и недостижима, для которой много но-

чей не спала ее большая семья за срочной работой. У ней составилась порядочный капиталец. Тогда совершился переворот в ее жизни; алебастровые зайцы, конверты, собственноручное мытье полов и тому подобные чернорабочие промыслы и занятия были изгнаны из семьи, оставлена старая квартира, брошено знакомство с мелкими торговками. В новом месте, на Песках, отрешившись от чернорабочей жизни, она стала полною чиновницею, в чепце с желтыми разводами, в салопе с длинной пелериной и с огромным зонтом в дождливую погоду. Муж ее достиг столоначальнического термина, и стали его посещать столоначальники, их помощники, архивариусы, экспедиторы, контролеры. Они мало-помалу прививались к древу Мавры Матвеевны, вступая в брак с дочерьми ее. А сама Мавра Матвеевна еще в большой силе; когда дочь ее Анна родила сына, тогда она родила себе еще дочь, другую Анну – это было последнее и самое любимое ее дитя, рожденное в светлой комнате и положенное в кружевные пеленки, это и была Анна Андреевна Дорогова. И вот поколение Мавры Матвеевны стало расти шире и шире, получая в наследство ее деятельный и практический дух. От нее-то и произошли Бирюковы, Касимовы, Дороговы, Рогожниковы, Ильинские, Бенедиктовы, Череванины; по крайней мере, ее духом связались воедино. Тогда Мавра Матвеевна, по ее понятию, достигла возможного счастья. Образовалась целая порода чиновников, особая корпорация, члены которой служили в бесчисленных присутственных местах

столицы. По родственной связи поддерживая друг друга, они всегда давали знать своим о вновь открывшейся вакансии, за своих горой стояли, добывали протекцию, и таким образом поколение, созданное Маврою Матвеевною, проработывало себе карьеру во всех сферах чиновного царства. Многие тогда знали Мавру Матвеевну, и маленький чиновник считал за особое счастье попасть в ее кружок. Чтобы представить себе такое счастье, надобно отрешиться от обыкновенного понимания карьеры, с которым соединяются генеральские чины, многотысячные капиталы, внушающие звезды, аристократические жены, поместья – все, что добывается в высших сферах бытия, где и поклоняются высшим богам и богиням. Есть другого рода карьеры, не поднимающиеся выше столоначальнического термина, так что этот термин, как путеводная звезда, блестит для юноши где-то далеко, в глубокой старости. В этой-то сфере Мавра Матвеевна занимала высшее место, распоряжаясь силами многих душ чиновных. Так она приобрела в своем кругу значение и вес, которые успела упрочить и за детьми своими. На шестидесятом году она лишилась мужа, оделась в черное, оставила все дела, читала духовные книги и знала пол-Библии на память; часто можно было видеть, как она оделяла нищую братию грошами и копеечками, приговаривая: «поминайте раба божия Андрея...» На осьмидесятом году она купила себе место на Волковом кладбище подле могилы мужа, «абонировалась», как выразился тогда один из ее внуков, обнесла место

палисадником, насадила клену, малины и сирени. А поколение ее разрослось до осьмидесяти человек. Очень стара она была в то время; под чепцом ее все побелело; морщины на лице, на руках, на шее превратились в трещины; она сторбилась; память ее отказывалась от сегодняшнего дня, хотя все случившееся давно старуха рассказывала с изумительными подробностями, повторяя одно и то же несколько раз, всегда одними словами и в том же порядке. Ее жити́я было девяносто один год, и похоронена она, как завещала, среди малины и сирени.

По мужской линии род Дороговых восходит до времен Анны Иоанновны. Первые известия о них сохранились в документе, который оставлен прапрадедом потомству, под именем: «Памятник событий», так что лет через тысячу род Дороговых будет очень древний. Из памятника мы узнаем, что прадед Дорогова был придворным конюхом, служил под начальством Волынского, который однажды пожаловал его сотней рублей, в другой раз – шубой, а однажды ни за что отодрал кошками; дед был приказным, а отец уже чиновником назывался; наконец в лице Игната Васильича древняя кровь окончательно очистилась и возвысилась. Таким образом, поколения прабабушки-мещанки и прадеда-конюха слились воедино и так переродились, что теперь невозможно и подозревать, что предки их некогда стояли на такой низкой общественной ступени. Таковы исторические судьбы!

Во всякой черной работе есть идея, стремление осуще-

ствить в жизни свое желание, завести такой порядок, какой хочется, заставить судьбу совершать те события, которые нам нужны. Мавра Матвеевна народила много детей и при их пособии забрала судьбу в руки. Надо же наконец было воспользоваться ею. Чего хотели эти люди? Они из сил бились-выбивались, чтобы заработать себе благосостояние, которое состояло не в чем ином, как в спокойном порядке с расчетом совершающемся существовании, похожем на отдых после большого труда, так чтобы можно было совершать обряд жизни сытно, опрятно, честно и с сознанием своего достоинства. Такой идеал у них определялся словами «жить как люди». Они справедливо думали, что до сих пор только работали, а не жили. Теперь отдых настал, и, естественно, им казалось, что самое блаженное состояние на земле – это вечно отдыхать, чувствуя ежедневное спокойствие и упрочивая это спокойствие на завтрашний день. Больше ничего. Но семье все-таки поздно было начинать жизнь снова: много лет ушло, сил потрачено, горя помнилось; оставалась на сердце обида на двадцать лет трудной жизни; поневоле хотелось отведать на ком-нибудь из своих того идеала, который им был так любезен, прочувствовать день за днем, какое есть на свете существование хорошее, и вот вся страсть к жизни нашла исход, окончательно заверченный при появлении Аннушки, к дню рождения которой отец, мать, братья и сестры доработались своего благосостояния. Все заботы семьи выпали на долю последнего дитяти; все любили это дитя, наперерыв

ухаживали за ним. Трудно представить себе то удовольствие, то бесконечное наслаждение, какое ощущали они, глядя на дитя в кружевных пеленках на руках здоровой и красивой няньки, дитя, начинающее жить так, как им хотелось. «Так бы и нам расти нужно было!» — думали они. Жизнь этого ребенка была произведением многих рук, непокладно работавших двадцать лет, потому он и был гордостью семьи. «Что-то будет?» — думали они, и ни на минуту не закрадывалось в их сердце сомнение, что Аннушка, быть может, не оправдает их надежд. Они не имели случая разувериться в ней. Когда Аннушка стала понимать, ей родные рассказали, что она сейчас же может начать благоденствовать, что они много трудились для нее и всё приготовили; рассказали, как они бедствовали, терпели нужду, не спали ночи над срочной работой, копили деньги; они дали понять ей, какая страшная сила в деньгах, и показали ей много денег. Они говорили, какая у них была квартира, каким пьяным, грязным, ворующим соседством они бывали окружены, какое у них было знакомство, и при этом обнаруживали искреннюю радость, что она ничего подобного не испытает. Прежний быт казался Аннушке противным и тягостным; в то время она чувствовала, что недавно еще все успокоились после долгого выбивания на свет божий, и убедилась, что цель достигнута, дальше некуда стремиться, до предела дошли. У ней под влиянием таких условий выработался склад души вполне ясный, определенный, удовлетворенный. Она любила своих родных, свое

хозяйство, свое благосостояние. День за днем проходили ее девственные годы, без порывов из замкнутого около ее круга. Все шло у ней регулярно, чинно, благонравно; репутация ее была в высшей степени безукоризненна. В таких девушках предвидятся отличные хозяйки. Она желала себе всего того, чего ей другие желали. Отсюда не следует, что у нее не было своего ума и своей воли; напротив, она была умна и настойчива, но ее ум и воля вполне совпадали с целями старших; она сама хотела всего того, что с ней случалось. Насилия не было. В ее натуре не было нравственной потребности сделать попытку – взглянуть за пределы семейного мира. Она родилась в такой положительный час, когда завершался результат долгой работы целого поколения, результат, которым осталось ей только воспользоваться. В ней воплотился идеал поколения, и вот к таким-то личностям невозможно относиться обличительно, представляя их ограниченный кругозор; нельзя досадовать, видя их спокойные лица, выражающие откровенное нежелание идти вперед. «Довольно!.. для нас лучшего не надо!» – написано на их красивых, дышащих счастьем лицах. Невольно соглашаешься, что такое спокойствие вполне законно, точно чувствуется, что жизнь и природа, долго работая в этом уголку сословия, хотели достигнуть пока ближайшей цели, достигли, сложили руки и отдыхают. Напрасно говорить Аннушке, что есть жизнь более полная и широкая, хотя часто сопровождаемая душевными муками и не так обеспеченная, – она ничего не поймет

и ничему не поверит. Если же на минуту и возникнут в душе ее сомнения, она спросит мамашу, сестер, и те легко и ясно докажут ей, что нет счастья выше их счастья – сытного и спокойного, регулярно каждый день справляемого. Впрочем, на ее долю не выпало и случаев таких, которые заставили бы ее развиваться в ином направлении. Книги ей попадались большею частию такие, которым нельзя было верить, – либо очевидно лгали, описывая то, чего нет на свете, – либо такие, которых она не понимала. Правда, она читала и лучших поэтов, но и они не расшевелили ее: в книгах она не нашла ничего похожего на свою жизнь, что отчасти случилось и с дочерью ее Надей, хотя у последней имело совершенно иной исход. Книги развили ее вкус и научили говорить хорошо. Не много она получила и от пансионного воспитания. Наконец, в кругу этой девушки не было тех образованных молодых и горячих на слово людей, которые могли бы увлечь ее, – всё чиновники, чиновники и чиновники, ох, как много чиновников! Да и явись самый увлекательный мужчина и позови Аннушку на иную жизнь, она, прислушавшись чутко к новым речам, увлеклась бы на несколько минут, а потом опять точно ничего не слыхала, ничего не узнала. Вот это-то и называется цельною натурою. Она всегда прилична, достаточно благочестива, старшим покорна, к хозяйству прилежна. Но полной женщиной она сказалась во время замужества; тогда в ее характере развились новые стороны, которые в девушке лежали пока в зародыше.

Брак Анны Андреевны состоялся после семейного совета, в котором и она принимала участие. Когда обсудили со всех сторон дело и нашли, что Дорогов – отличная партия, она сказала матери и сестрам: «я согласна», заплакала, но тотчас же почувствовала влечение к Игнату Васильичу, который, надо сказать, был молод и недурен собою. Она по чистой совести в церкви сказала – «да».

Анна Андреевна незаметно сделалась царицей домашней жизни, хотя это было для нее труднее, нежели для ее сестер, которые уже в медовый месяц обозначались полными домо-владычицами, чему мужья и покорялись после легкой борьбы. Но знаете ли, каков был некогда ее муж, да и теперь остался отчасти? Он, как большинство, думал смолodu, что холостая жизнь есть самая лучшая жизнь не только потому, что она удобна для разгула и частой перемены любовного продукта, а и потому, что пока человек не женат, он никого не знает и знать никого не хочет, не стеснен никем, ни о ком не заботится, никого не кормит, все деньги идут на его одного; несчастлив, так один несчастлив, – никто, кроме тебя, не тяготится, никто вместе с тобою не плачется на судьбу; а счастье посетило, так возьми первого встречного на улице – всякий с охотою разделит счастье. Не слышите ли чего знакомого в этой системе, по которой нам горько делить с ближним даже несчастье, потому что с какой стати будут вторгаться в мою душу посторонние люди? Этой системы смолodu держался и Игнат Васильич. Он женился бы в свое вре-

мя, лет под сорок, когда бы понадобилась хозяйка, сиделка, стряпуха, когда нельзя ожидать большого плодородия, а следовательно, и больших расходов и забот по любовному делу. Так рассуждают самцы; такая система – дело расчета, коммерческий оборот. Но подошли же и сложились обстоятельства иначе. Игнат Васильич, – он до сих пор не понимает, как это с ним случилось, – страстно полюбил Анну Андреевну и до того запутался в этом деле, что увлекся и позволил себе жениться в молодых годах, на двадцать осьмом году жизни. Когда прошел первый пыл увлечения, он стал раскаиваться; когда же молодая, горячая страсть совершенно остывала и должна была превратиться в тихую, ровную и прочную любовь семьянина, он просто сбесился и начал так кутить, что едва его не выгнали со службы. В это время он немного образумился. Между тем во время беспутной жизни мужа зрел характер Анны Андреевны. Будучи мещанского рода, она много сохранила в памяти рассказов о страшно изломанной семейной жизни, о деспотизме и полноправии мужей, о пьянстве их, домашней бедности и неисходном семейном горе. Анна Андреевна дрожала и бледнела от одной мысли, что и она может испытать такие же бедствия, она уже видела приближение их, и в голове ее проходили отвратительные картины разрушенного хозяйства, невоспитанные, быть может ворующие на улице дети, и в то же время она очень хорошо знала, что нет на свете власти между мужем и женою, жаловаться некому, судиться негде, что муж и жена так свя-

заны между собою, что всякое наказание ему служит наказанием и ей, и детям, и всему будущему ее поколению. Она в ужасе падала перед иконою Божией Матери, и рыдала, и молилась. Бессонные ночи и полусонные дни летели чередой, но не было помощи ниоткуда. В один день она почувствовала, под сердцем ее что-то живет, – то была Надя; она сознала в себе силы и решилась бороться с мужем без слез и жалоб, требовать, тогда как до сих пор она только плакала, худела и умоляла мужа. Тогда ей жизнь дала новый урок. Игнат Васильич был страшно упрям и крепколюб. С ним трудно вести открытую войну; у него как-то особенно строились убеждения, организация их была оригинальна. Он, знаете ли, охотник и порассуждать, но, ради бога, не доказывайте ему ничего, не надейтесь приобрести в лице его адепта вашего учения, коль скоро заметите, что он с вами не сходится, – даром потеряете время. Лучше предоставить его самому себе: быть может, и догадается как-нибудь и сам дойдет до вашей мысли. Он долго слушает, запоминает слова ваши, соображает, и бровями поведет, и нос пальцем подопрет; он, по-видимому, увлекается, но под конец все-таки скажет неожиданно: «Да нет... все это не то... я не думаю так». – «Отчего?» Ответ старый. Трудно своротить Игната Васильича, потому что своя мысль сильно вырастает в его крепкую голову. Кто знает этого человека, тот не любит с ним много говорить, а прямо приглашает к зеленому столу. При этом упорном характере в нем были развиты дикие инстинкты. Он смеялся над

любовью, несмотря на то, что женился по любви. Этот мормонист по натуре имел некоторые и служебные неподвижные истины. Он некоторых начальников глубоко ненавидел, но ни разу не подвел их, хотя и имел к тому много случаев; службу он считал священнейшим долгом своим, хотя одно время, увлекшись разгулом, едва не лишился места; человека выгнанного, даже напрасно, он презирал; формалист был страшный, смешивал самым искренним образом службу делу со службою лицу; исполнительность и безгласное повиновение считал едва ли не выше самого знания дела. Вот этого-то господина – произведение департаментской фауны – пришлось укрощать Анне Андреевне. Она решилась твердо предъявить свои права. Прежде при слезах и упрашиваньях жены молодой супруг только охал да хмурился, выжидая первого повода уйти из дому; но когда она стала требовать от него порядочной жизни как долга, упрекала его, напомнила брачные клятвы, Игнат Васильич вышел из себя, обругал жену, надел пальто и шляпу и, на ее же глазах положив в портмоне двести рублей, скрылся из дому на неделю. Анна Андреевна едва не захворала; но у ней был организм железный, и она перемогла обиду. Она поняла, что за человек был Игнат Васильич; попытка наступить на мужа прямо – была с ее стороны первая и последняя. Она нашлась наконец. С того времени муж редко видал ее недовольною. Родилась у них дочь – это несколько привязало Дорогова к дому, а между тем в воображении Анны Андреевны быстро развер-

нулась целая система действий относительно мужа, влияние которой он и испытывал на себе. Успех жены был полный, так что мы видим в Игнате Васильиче мирного семьянина, который изредка только отзывается по-старому холостяком, и то в слабой степени и в другом направлении. Анна Андреевна оказалась и умнее и сильнее своего мужа. Она незаметно сделалась полной царицей домашней жизни; ее планы, ее мечты осуществлялись, а муж должен был стушеваться. Где же она нашла силы? Это женский секрет. Она принялась ткать дивную ткань тонкими шелками по канве семейной жизни, долго и усидчиво. С грубой силой, с незаконным правом вступил в тайную, подземную борьбу ум женский – изобретательный и изворотливый, гибкий и терпеливо выжидающий. Дорогов не замечал, как подводили подкопы под его убеждения, перевоспитывали его, перестряпывали, отняли у него прежний характер и дали ему совершенно иной. Он не подозревал, что, при всех поцелуях, при всей любви к нему, Анна Андреевна ни разу в продолжение двадцати двух лет не была вполне откровенна с ним, изучает все его слабые стороны, знает, что и когда может иметь на него влияние. Здесь требовалась работа мелкая, а Анна Андреевна любила заниматься узорами. У ней для того и времени много; муж на службе, а жена сидит за шитьем; голова ее свободна; она многое передумает, все рассчитает, взвесит и предусмотрит. Под полным влиянием Анны Андреевны дети и прислуга; она искусно делает их орудием своих це-

лей: дети всегда хотят того, чего она хочет, ласкаются к отцу, готовят его, просят. Она сумела заставить детей любить отца, угождать ему, а через это отца привязаться к ним. У самой у ней были дорогие для житейской практики свойства. Она, несмотря ни на какое расположение духа, могла держать себя ровно и прилично. Она говорит довольно связно и слушает настолько внимательно, что знает, что надобно отвечать, но в то же время думает о своем деле. Для собственных ощущений у нее не было выражения на лице; трудно догадаться, когда этот человек скучает или сердится; лицо ее сразу навсегда приняло известные формы, да так и не переменило потом. Она никогда почти не краснела, не увлекалась, не отступала от внешних обрядов жизни. При этом Анна Андреевна мастерица заставить делать то, чего ей хочется, не сказав о том ни слова, не попросив ни разу. «Над диваном бы повесить отцовский портрет», – говорит муж. «Отчего ж и не повесить?» – соглашается жена, но ей это не нравится, и посмотришь – через полгода портрет висит в спальне за печкою. Потом Анна Андреевна сумеет навести мужа на мысль, что он захочет *сам* переменить место портрета, а жена, когда придет время исполниться ее затаенной мысли, притворяется и называет мужа бесхарактерным: тот захочет поставить на своем, а через это-то и сделает то, что желает жена. Анна же Андреевна устраивает ему и пульку, и шахматную игру, и любимое кушанье, и беседу умных людей. Она знает все его привычки и прихоти, знает, когда можно

с ним говорить, просить его, желание его не исполнить, как приготовить сигару, где поставить солонку во время обеда; она сосчитала все мозоли на его ногах и чулки к ним прино- ровила. Анна Андреевна старалась сделаться необходимою для мужа, так, чтобы без нее у него весь день пошел бы на- выворот от беспорядка, чтобы он жить без нее не мог. Все хозяйство было приноровлено к тому, чтобы каждая вещь нравилась мужу, и в умной голове Анны Андреевны домаш- няя обстановка является в тысяче комбинациях; вечно, без- устанно мысль ее работает над одной и той же задачей. Ан- на Андреевна создалась так, что удальство, резкость, круп- ное остроумие, громадные физические силы, распаляющие страсти, лирические порывы из верхнего этажа вниз головою и тому подобные идеально-широко-бесшабашные атрибуты, ценные в характере мужчины для некоторых женщин, для нее не имели никакого смысла. Она любила тишину, день- ги и детей. Она решилась добыть себе мирную жизнь и вот повела многолетнюю переработку своего сожителя, и после неимоверно напряженной и тайной, неуследимой борьбы у Дорогова оказалось не то лицо, не та походка, не те вкусы, не те речи, не те друзья и знакомые, которые были прежде, — так он переменялся. Обуздали его и перевоспитали. И что удивительнее всего, во всем этом не вражда была; нет, это любовь была. Каких чудес не совершается в православной, русской жизни? Она любит своего мужа, всегда верна ему, о своих удовольствиях заботится менее, нежели о его удо-

вольствиях; она скорее сошьет мужу шубу, нежели себе са-лоп, а еще скорее деньги употребит на детей. Она лелеет его, покоит, богу за него молится. Ведь Дорогов – произведение рук ее, – как же не любить ей Дорогова? Но главным образом любовь и терпение Анны Андреевны вытекали из ее по-ложения. Любовь ее была обязательная, предписанная зако-ном, освященная церковью и потому неизбежная. Ей нельзя было ненавидеть мужа, иначе она погибла бы. В иных слоях общества жена мужу говорит: «Я не хочу с тобой жить» – и уезжает на вольную квартиру, а здесь об этом и думать бы-ло невозможно... Бежать?... куда?... А проклятие матери, ко-торая ее не пощадила бы? а ненависть родных? а бедность? а дети? – бросить их, что ли? а страстное желание жить, как люди?... а, наконец, сила брачных обязательств? Все так сло-жилось в жизни Анны Андреевны, что она поставлена была в необходимость полюбить своего мужа, и она сумела полю-бить душу его, наружность, общественное положение. Для этого она отыскала в муже добрые стороны, выдумала их, обольстила себя насильно, что было возможно только при ее холодном и степенном характере. Само собою разумеется, что обязательная любовь Дороговой не могла быть страст-ною, романтической. Это была сдержанная, спокойная, ис-кусственно воспитанная привязанность к законному мужу. Из этой сферы, довольно узкой и душной, никогда не поры-валась Анна Андреевна. За пределами заколдованного кру-га она не знала ни смыслу, ни свету. Ей думалось, все, что

она слышала о нравственном, изящном, святом, осуществилось наконец в ее жизни. Она была невозмутима; совесть ее спокойна; и если каялась Анна Андреевна духовному отцу, приговаривая: «грешна, батюшка, грешна», то единственно по христианскому смирению. На самом же деле она сознавала свое достоинство и считала себя безгрешною, и муж едва ли не признавал ее святою – так была безукоризненна ее репутация. Все в ней нравилось Дорогову, он видел в ней что-то аристократическое, важное, она похожа на барыню хорошего тона, что окончательно покоряло его; она хороша, умна, получила некоторое образование, любит мужа, отличная хозяйка, у нее так много детей, она так хороша с гостями, детьми, прислугой, его друзьями. В добром расположении духа Игнат Васильич, целуя свою жену, говаривал, что благоговеет перед нею. Но Игнат Васильич смутно чувствовал, что через жену стал домовитым человеком, и никогда не мог допустить и сознаться, что в его доме царствует женщина. «Я глава дома!» – думал он с непобедимою своею упорностью. Анна Андреевна о словах не спорила; ей дорог был результат. Женщина с большими запросами от жизни объявила бы явную вражду такому мужу, как Игнат Васильич, и непременно проиграла бы, потому что он крепок был на слово и на дело; а она не проиграла, взнуздала мужа, укротила его и поехала куда хотела.

Таким образом, нужно было сто лет назад родиться

Мавре Матвеевне, работать двадцать с лишним лет, добыть материальное благосостояние, потом народиться Анне Андреевне, работать над мужем тоже с лишком двадцать лет, и тогда только мог состояться тот мирный семейный вечер, который мы видели в доме Дорогова. Но и после всего этого все-таки мирные вечера нарушались здесь по самым пустым причинам, все еще счастье не было упрочено окончательно. Игнат Васильич сделался домовитым человеком, но все-таки остался Игнатом Васильичем. Много мрачного осталось в его характере. Подозревал ли он инстинктивно, что его обезличили, или в натуре русского человека, даже чиновника, гореванье и серенький взгляд на жизнь, — что бы то ни было, но ему подчас становилось невыносимо скучно. Расположение духа Дорогова было большею частью серьезное, с оттенком строгости, грусти и задумчивости. Он мало разговаривал с детьми, отвечал им резонно, коротко и ясно; дети дичились его, любили уходить из той комнаты, где он сидел, потому что отец не терпел шуму, говорили с ним тягучим, жалобным голосом. Но когда случалось, что отец позволял себе болтать и шутить с ними, дети делались свободны, карабкались к нему на колени, рылись в его бакенбардах; хохот, детский крик и визг около Игната Васильича, и наслаждается он сознанием, что у него добрая семья, и называет их канальями. Но лишь только скажет отец своим строгим голосом: «Довольно, дети!» — дети сразу оставляли его и начинали выжидать, как бы уйти из той комнаты, где сидит отец. В доб-

ром расположении духа Игнат Васильич все простит и забудет; когда же расположение сменялось, тогда толк и правда в семье становились иные: прежде умное считалось глупым, позволенное – запрещенным, часто следовало наказание, за что прежде почти поощряли. Недоспит ли он или не поладит в департаменте, дуется ли его любимая канарейка, или много луку положено в суп, или просто пасмурный день произвел дурное впечатление, – все это у него сейчас же обнаружится на словах и на деле. Он любил сорвать на ком-нибудь гнев, причем он к жене редко придирался, к старшей дочери тоже мало, но меньшим детям приходилось плохо. В таком случае всегда следил за ним зоркий, всевидящий глаз жены. «Что, если переменится? – думала она. – Начнет бездомничать, пристрастится к клубу, к товариществу, к трактирной жизни?»

Семейная группа за круглым столом начинает расстраиваться. Мать пошла хлопотать по хозяйству; гимназист ушел в другую комнату, и другие дети посматривают, как бы улизнуть из-за стола, за которым несколько минут назад так весело было сидеть. Эти люди настолько знают друг друга, что довольно одного взгляда на отца, и они догадываются, что отец обестолковел немного.

– Поди ты прочь!.. Что тут торчишь все? – говорит отец Володе, который очень близко сел к нему.

Володя подвинулся; потом, посидев немного, поднялся со стула и направился к двери.

– Куда? – остановил его отец.

– В ту комнату, папенька...

– Зачем?

– Так.

– Шалить?.. Сиди здесь.

Володя садится к столу с стесненным сердцем.

– Зачем ногами болтаешь? – кричит ему отец. – Тебе говорили, что это нехорошо?

Мальчик оправляется.

– Володя! – слышно из другой комнаты.

– Вон мать зовет, поди, – говорит отец.

Володя уходит с радостью и твердым намерением избежать встречи с отцом до самого ужина.

Игнат Васильич сознает между тем, что попусту придирался, и в его душе является смесь и борение разных чувств – и грусти, и досады, и недовольства собою, и совестно ему, и сам он понять не может, что с ним делается. Все его беспокоит и раздражает, а Федя, как нарочно, начинает скрипеть дверью, чего отец терпеть не мог и в добром расположении духа.

– Что я тебе тысячу раз говорил, а? – спрашивает он сына.

Тот молчит.

– Говори же!

Молчит.

– Ты умеешь говорить?

Молчит.

– Я ж тебя заставлю отвечать, каналья этакая!.. Встань в угол!

Федя ни с места.

– Ну!

Мальчик, потупясь в землю, медленно подвигается к углу.

– Стой до тех пор, – говорит отец внушительно и с расстановкою, – пока не скажешь, за что поставлен.

– Не знаю! – говорит жалобно Федя.

– Феденька! – вмешивается Надя, – скажи, что скрипел дверью, и проси у папаши прощенья.

– Не хочу, – шепчет упрямец.

– Не тронь его, Надя, – он упрям.

– Ну да, упрям!

– Молчи, каналья!

Игнат Васильич подходит к окну и начинает барабанить по стеклу пальцами. Сын опять начинает ворчать под нос себе:

– И поиграть нельзя... все запрещают... все худо...

– Вот я тебя, грубиян, не велю к тетке брать...

– И не нуждаюсь...

– Я тебе уши выдеру...

После этого Федя перестает говорить. Чувства беспокойства и недовольства собою еще выше поднимаются в душе Дорогова. Он думает о сыне: «Откуда в нем это упорство? в кого он такой уродился? Боже мой, заботишься о них, растишь, а вот какая благодарность!» На сердце его становилось

горько-горько. А, очевидно, Федя уродился в него же, подаваясь не влиянию наставлений и наказаний, а примера в поступках отца. Мальчик, видя постоянные противоречия, привык полагаться на себя и решение свое считать последним. Он инстинктивно растил свое: «мне досадно» и «мне так хочется» и редко мог воздержаться, чтобы не отвечать на выговор отцовский заунывным тоном какую-нибудь грубость. Так во всяком семействе можно наблюдать ту силу, которая в разных его членах создает одинаковые свойства, по законам отражения от одного лица на другое.

Гимназист заглянул в комнату.

– Что ж ты не занимаешься своим делом? – спросил его отец.

– Я приготовил уроки.

– Что ж, уроки только?

– Я...

– Я, я, я! Затвердил одно!.. Экие упрямые у меня уродились, прости господи!.. На-ко вот книгу, прочитай эти пять листов... Он только для учителя готовит! – а ты для себя учишься!

Отец долго говорил на эту тему, так долго, что гимназист рад-радехонек был, когда получил из отцовских рук книгу и дождался времени уйти вон. Отцу еще хуже. Он начинает ходить из угла в угол, ходит долго и тревожно, нахмурившись, как туча.

– Папаша, – говорит, глядя на пол, Федя.

– Ага! – отвечает отец злорадно. – Что? надоело в углу стоять?

Как только сказал отец «ага», Федя опять не может говорить, точно ему заперли рот на замок.

– Что ты хотел сказать?

Ничего не может сказать мальчик.

– Постой же еще! – говорит отец с упорством и злостью.

Федя хочет сказать, но не может; ему стыдно.

– Ви... но... ват! – наконец произнес он с усилием.

– В чем же ты виноват?

У Феди слезы на глазах.

– Ну, объясни толково...

– Скр... ри... пе... л, – отвечает ребенок, всхлипывая.

– Зачем ты скрипел?

– Не... зна... ю.

– Тебе запрещено было?

– Запре... ще... но...

Ребенок разрыдался.

– Слезы!.. слезы!.. – сказал с тоской Игнат Васильич. – Ох ты, господи! (Сильное удушье слышалось в этом отцовском «ох».) Ну, полно тебе, перестань, – говорил он смягченным, но все еще суровым голосом. – Ну поди, Федя, к матери, поди к ней.

Федя постоял и помялся немного, отер кулачком слезы и потом пошел к матери.

– Дети, дети! – глубоко вздохнув, проговорил Игнат Ва-

сильич. – Ничего-то не понимают они, только отца сердят, а отец для них как вол работает...

– Вы, папаша, не волнуйтесь, – говорит Надя.

– Обусть, одеть, накормить всех надобно, выучить и к местам пристроить, а какая благодарность...

Проходит несколько мучительных минут. Дорогов хочет заняться газетой, но не может. Все его сердит и раздражает.

– Антонелли, Кавур, Виктор-Эммануил, – ворчит он, пробегая газету, – а пропадай они совсем – мне-то что до них за дело? Вот честное слово, провалились Италия сквозь землю, я и не поморщусь. (Говорит он это, а между тем вчера интересовался политикой и завтра будет интересоваться ею.) Это что? критика?.. Ну ее к бесу... (Он перевертывает лист.) Тут что? «О дороговизне квартир»... Вот чепуху-то разводят; ничего не смыслят, а все-таки пишут. – «Пожары». (О пожарах он прочитал внимательно.) Так и есть, причина неизвестна, – сказал он, причем в его голове шевельнулись злые и довольно либеральные для его чина мысли. – «Самомубийство», – читал он далее. – Болван какой-то повесился; отодрать бы его хорошенько. (Но тут и сам он смекнул, что мертвых драть нечего.) – «Откармливание свиней»... «О мостовых»... «Несчастье от кринолина»... «Пригон скота»... – Пишите себе на здоровье! О свиньях пишет, и то гуманность упомянет; повесится какое-нибудь животное, и тут о прогрессе скажут... Литераторы!.. Экие газеты у нас!.. Эту еще почтенный и ученый человек издает, семьянин, свой

дом имеет, и все-то там, говорят, живут писатели. Ну к чему ты, Надя, дала мне газету?

Дочь посмотрела на него с удивлением, потому что она не давала ему газеты.

– Зачем ты подсунула мне эту газету? О Надя, меньше читай; я тебе это не раз говорил и еще много раз буду говорить. Станешь зачитываться – забудешь добрую нравственность, потеряешь веру, уважение к родителям и старшим, появится вольнодумство, недовольство собою и всеми людьми... Книжки ведут к размышлению... это-то и худо... покажется, что надо жить не так, как живешь, а отсюда неповиновение и разврат.

Надя молчала; ей скучно было. Отец долго бранил книги и писателей.

«Хоть бы ушел он куда-нибудь, – подумала Надя, – либо к нам навернулись бы гости».

Желание Надежды Игнатьевны было очень естественно. Когда приходили посторонние люди, хотя бы и родные, отец из приличия не позволял себе делать разных выходов, хотя бы и был не в духе, – никогда и никого не поставит в угол, не сделает выговора; разве только за углом где-нибудь, улутив удобную минуту, шепнет неприятное словцо. Один купец, который бил детей своих и плетью и палкой и за вихры таскал их, говаривал Наде: «У вас Игнат Васильич не отец, а просто добрейший человек!»

В ответ тайной мысли Нади вдруг раздался звонок в при-

хожей.

Боже мой, как все оживилось, забегало, повеселело в квартире Дорогова! Гимназист швырнул книгу на этажерку, Федя поехал верхом на отцовской палке, Надя отправилась к фортепьяно, — канарейка и та проснулась и шарахнулась в клетке; одна Анна Андреевна всегда одинаково серьезна и ровна. В воздухе точно пронеслось: «Свобода, тишина! брань миновалась! Дети, играйте, отец вас не тронет больше!» И действительно, отцовское лицо прояснело. Он заботливо осмотрелся, взял газету, только что швырнутую им, и, как будто читая, глядел в нее внимательно, а сам нетерпеливо ждал посетителя.

В комнату вошел коротенький, толстенький человек лет сорока, с крупной золотой цепью на брюшке, с багрянцем на щеках, с лысиной на голове, подвижной и бойкий, аккуратно и опрятно одетый.

— Макар Макарыч, — приветствовали его Дороговы, — добро пожаловать.

Макар Макарыч Касимов, помощник столоначальника и бухгалтер одного акционерного общества, осведомился сначала о здоровье дам, потом хозяина, наконец, малых детушек, одного из них поймал за плеча и поцеловал, другого погладил по голове, успел поправить светильню на свечке и снять нитку с сюртука Дорогова, сказав: «У вас ниточка», и потом вдруг уgomонился и смирнехонько сел к столу.

В гостиную опять собралась вся семья; опять начался мирный семейный вечер.

– Что нового? – спросили у Макара Макарыча.

– Известно что!.. – отвечал он.

Все посмотрели на него.

– Дороговизна! – закричал Касимов и рассердился не на живот, а на смерть.

Все слушали его спокойно, зная, что это у него уж темперамент такой, что высокие ноты в его голосе не должны никого беспокоить, он сейчас же и утихнет.

– Угадайте, что просили с меня за сажень дров?

Никто не отвечал.

– Нет, вы угадайте.

Все продолжали заниматься своим делом, будучи уверенными, что Макар Макарыч сам же и ответит на свой вопрос.

– Семь рублей... – сказал он язвительно, точно дразнил всех. – Что, хорошо? нравится это вам? утешает?

Дорогова забрало наконец.

– Скажите, – отвечал он, – ах, мошенники!

– То-то и есть, мошенники!

Завязался оживленный разговор. Вспомнили те времена, когда фунт хлеба стоил грош и даже менее, перебрали, что ныне стоят свечи, сахар, мука, мыло, мясо, дрова, квартиры и т. п. Непринужденно и бойко лилась речь. Макар Макарыч выводил один за другим на свет божий поразительнейшие факты. Вся душа его кипела; он был в своей сфере и жил

полной жизнью.

— Зато деньги теперь дешевле, — сказал, входя в комнату, новый гость.

— Только не для нас, — ответил запальчиво Макар Макарыч и даже не здороваясь с гостем, — не для чиновников; вы, доктора, ничего этого не понимаете.

Доктор Федор Ильич Бенедиктов был серьезный господин высокого роста, с умным лицом и в очках. Он говорил крупной октавой, точно дробью катал по туго натянутому барабану.

Коммерческая ярость Макара Макарыча мало-помалу укротилась. Один вопрос, касавшийся насущных потребностей круга Дороговых, отошел в сторону. На очередь выступил другой вопрос.

— У Ильинских плохо, — сказал доктор, — корь у детей.

Началось общее сожаление и тревога.

Дети были любимым предметом Анны Андреевны, и вот она, будучи рада, что есть случай поговорить о них, в сотый раз рассказывала, как Федя на третьем годку снял с себя башмаки, чулки, рубашонку, побросал их за окно и остался совершенно голый; как Леша, едва научился ходить, и ушел, не замеченный никем, за двери, успел спуститься с двух лестниц и только тогда хватились его; как Сеня насыпал песку в табакерку крестной мамаше, генеральше. Она сообщила, что Надя хлеб называла — «мо», Коля — «фа», Соня — «фу-фу», а Володя — «ля». Все, что составляет жизнь детей, — когда ре-

бенок первый раз улыбнулся, взял в ручонку какую-нибудь вещь, начал ползать, стоять, ходить, когда куплена азбука, как определяются дети в гимназию и институты, — все это предметы душевных рассказов Анны Андреевны. Но наконец истощился запас разговоров и по этой части. Анна Андреевна не знала, чем бы занять гостей, и когда завела разговор о выкройках, в то время пришли еще гости.

Один из них был экзекутор Семен Васильевич Рогожников, любивший посмеяться над дамами, ненавидевший католиков, лютеран и ученых. Глаза его тусклы, нос кругл, щеки большие, шея короткая — живое олицетворение паралича. Другой гость был более нежели среднего роста, несколько сутуловат, плотно сложен; здоровье и крепость были видны во всей его фигуре; хорошо устроенный лоб и серые глаза обнаруживали ум; современные густые бакенбарды покрывали его щеки. Это был Егор Иваныч Молотов, архивариус одного присутственного места.

Пришедшие поздоровались.

— Макар Макарыч, — сказал Рогожников, — у нас вакансия открылась.

Все смолкло.

— Вот вашему сынишке и местечко. Директор обещал.

Все шумно поздравляли Макара Макарыча. На сцену выдвинулся в лице Рогожникова служебный вопрос, столбовой, коренной вопрос жизни этих людей.

— Вы знаете нашего уроды-то, — говорил Рогожников о ди-

ректоре, – насилу нашел удобный случай поговорить с ним.

– Как же вам удалось переговорить с этим зверем?

– А презабавный тут вышел случай у нас. Есть у нас чиновничек, Меньшов, молоденький, хорошенький, умненький, бедно, но всегда чистенько и щеголевато одевается. Этот господин, как вы думаете, какую штуку выкинул? Ни больше ни меньше, как влюбился.

– То есть как влюбился? – спросил Дорогов.

– Вот как в романах влюбляются...

– Ну, полно, – сказал Дорогов.

– Поросенок! – прибавил Макар Макарыч.

– В чиновницу влюбился, – продолжал Рогожников, – тоже бедненькую девочку. Вот наш Меньшов сам не свой, на седьмом небе, всех своих товарищей перецеловал и на радостях сдуру разлетелся к нашему директору: «Так и так, говорит, жениться хочу».

– Ну, что же директор?

– Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» – «Двенадцать рублей в месяц». – «Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть благоприобретенное, родовое?» – «Нет, ваше превосходительство». – «Так это вы нищих плодить собрались? – закричал директор. – Ни за что не дам свидетельства на женитьбу!» Меньшов растерялся, а генерал начал его поучать: «Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды,

воры, писаря, каналы! Вы хотите государство обременять! Зачем вам дети, скажите-ко? Как их вы будете растить? драть начнете, ругать каждый день, а они играть в бабки, в свайку, в орлянку, таскать гвозди из заборов, копить кости и продавать эту дрянь, чтобы добыть грош на пряники; с горем пополам научите их читать да писать, и кончится тем, что поместите их куда-нибудь в писцы, и правительство же должно будет учить их правописанию? Вот жених-то! Повернитесь-ко, я на вас в профиль погляжу... ничего, повернитесь, повернитесь!.. Ай да жених!.. Я сам, батюшка, холостой человек... отчего?.. а что я стану с детьми делать? пороть их каждый день, а с женой браниться, – а ведь этак-то нельзя, милый мой». Меньшов заплакал. «Что ж, очень хороша, что ли, ваша невеста?» – спросил директор. «Да, ваше превосходительство». – «Она с кем живет?» – «С тетенькой». – «Тетенька позволяет вам видаться, гулять вместе, оставаться вдвоем?» – «Позволяет». – «Ни за что же не дам свидетельство. Можете и так любиться. Не шуметь, молодой человек!.. Ну, я вас к награде представлю, повышу местом, только оставьте свои нелепые затеи». Меньшов целую неделю после того не являлся в должность.

– Так и не получил свидетельства? – спросили Рогожникова.

– Слушайте, что дальше будет. Недели две спустя является к нашему директору невеста Меньшова – и бух ему в ноги. Его превосходительство растерялся; он не мастер об-

ращаться с женщинами. Невеста объяснила ему свою просьбу. «А, так это вы? очень приятно познакомиться... прошу покорно садиться... Я слышал, что вы желаете вступить в законный брак... Что же, это похвальное дело. Но хорошо, что вы ко мне пришли, а то бы вы натерпелись большого горя. Ведь ваш жених Меньшов?» – «Да». – «Но ведь он негодяй первой руки, пьет страшно, грубит начальству, его скоро выгонят вон. Товарищи недавно поколотили его за кражу часов; он несколько раз сидел в полиции». Девушка едва не упала в обморок. «Ну хорошо ли вам будет, когда сделаетесь его женою? Представьте, что он будет всегда пьян, бить вас будет, наведет домой буйных товарищей, последний сапожишко ваш продаст; когда выгонят его из службы, вы же будете кормить его трудами рук своих; куда бы вы ни скрылись, он вытребует вас через полицию и заставит жить вместе. Поди-ко, он рассказывает, что я запрещаю ему жениться за его бедность?.. Полноте, бедность не порок; и в бедности добрые люди живут хорошо. Я оттого не дам ему свидетельства на женитьбу, что он негодяй и что он погубит такую прекрасную девицу, как вы». Директор такие ужасы наговорил невесте, что она с рыданием оставила его. Его превосходительство проводил развенчанную невесту до дверей и, когда она скрылась из глаз, сказал: «Вот теперь я посмотрю, как ты женишься!.. молокосос!.. нищий!.. Покажи-ко теперь невесте свой регистраторский нос, да она тебе глаза выцарапает! – Эй, кто там?» – крикнул он. В это время я подвер-

нулся. «Скажите, кому следует, – крикнул он, – чтобы Меньшова переместили на старший оклад, там вакансии есть, и чтобы к празднику назначили ему награду». Я вижу, что его превосходительство в добром расположении духа, и потому решился просить для вашего сына вакансию, открывшуюся после Меньшова. Что же? без слова обещал.

Все порадовались за сына Макара Макарыча.

– Ну, а Меньшов что? – спросил доктор.

– Ничего, служит.

– И прекрасно сделал генерал. Беда жениться недостаточному человеку.

– Но оставаться в холостяках вот таким людям, как Егор Иваныч, по моему мнению, непростительно.

– А помните, доктор, – отвечал Молотов, – вы обещали, что жените меня к Новому году. После того прошло уже два Новых года.

– Что ж с вами делать станешь? Сколько я вам невест предлагал, и всё были хорошие невесты. Во-первых, купчиха, образования не бог знает какого, но не безграмотна, хозяйка хорошая, из себя женщина красивая; а главное – с большими деньгами. Потом, помните Попкину? не особенно хороша она и не богата, но генеральская дочь и воспитанница княгини Чеботарево-Пробатской, а с такой протекцией, говорят, до звезд дослуживаются. Потом красавицу приискал, потом идиллическую девушку, ученую, со вздохами и с норовом; наконец, очень недурненькую и очень миленькую –

дочь чиновника Ломовского. Не тут-то было, ничем не угодишь! И как же отплатил, злодей, за хлопоты? «Напрасно, говорит, беспокоитесь, – по чужому выбору нельзя жениться!» Что ж, вы обрекли себя на детство?

– Нет, не обрек.

– Пообжились, устроились?

– Да.

– А лет вам сколько?

– Тридцать три.

– Деньжонки есть?

– Небольшие есть.

– Вы управляющим здешнего дома и, значит, получаете даровую квартиру и дрова?

– И это правда.

– Наконец, из департамента выдадут пособие на свадьбу. Каких еще условий недостает? Собой вы молодец, репутации отличной, здоровья железного, а невесты сотнями. Остается жениться и жить семьянином...

– И все-таки я не женился. Значит, чего-нибудь да недостает...

Разговор вдруг упал. Все стихли. Материал для речей истощился. Дороговизна, болезни, дети, служба и свадьбы – пять насущных, вечных, столбовых вопросов жизни были подвергнуты обсуждению, один за другим. Все, что было интересно для этих людей, все было сказано; дальше оставалось выдумывать, делать слова. Ангел мира и кротости пролетел

над семьей и гостями Дороговых. Гости не знали, что и делать им, зачем и доживать этот день – от него нечего было еще ожидать, не даст он больше ни одной мысли, слова или события. Тысячи дней, прежде прожитых, давали каждый не более сегодняшнего, – значит, и от сегодняшнего нечего ожидать более. Ударило девять часов. Вдруг Макар Макарыч вывел гостей из апатии. Он в неистовстве соскочил со стула и закричал:

– Святые угодники, а пулька-то!..

Таким образом, в семейной жизни всегда есть спасение от скуки и апатии. Мужчины, кроме Молотова, отправились к картам. Скоро внесли большой самовар, и Надя занялась чаем. Клокочет вода в самоваре, слышны смех и говор детей, маятник щелкает мерно, разрушилась горящая громада в камине, изредка сотрясается рама от едущей кареты, «без двух» – слышно из зала, стучат чашки на подносе, и весело звенит ложка, опущенная в стакан.

Уже давным-давно здесь совершается такая мирная жизнь, никогда не переменяя характера своей повседневности. Люди, наслаждающиеся таким счастьем, думают, что они вечно будут так жить и что такую же жизнь наследуют от них внуки и правнуки, чего и желают от всего сердца. Человеку же с большими запросами от жизни думается: «О господи, не накажи меня подобным счастьем, не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь!»

Надежда Игнатьевна была очень хорошенькая и серьезная девушка. В лице ее, как и в характере, были некоторые черты матери, но преобладающее выражение оригинально. Она довольно высокого роста, стройно сложена; лицо чистое, белое, с легким румянцем; глаза большие, голубые, с длинными ресницами, умные и ласковые; волосы каштанового цвета свернуты в массивную косу. Горелого цвета платье, шитое самую Надю, сидело на ней ловко. Надя особенно хорошо смеялась, всегда тихо, ласково и задушевно. Ее как-то не слышать, точно нет ее в комнате. Болтать Надя не любила, выражалась коротко, спокойно, просто. Как и мать, она редко краснела. Она постоянно занята, и всякое дело у ней делается легко и охотно. Со стороны весело смотреть, когда Надя шьет воротничок, разливает чай, учит грамоте сестру, читает отцу газету, кормит канарейку, поливает цветы, укачивает ребенка, приговаривая заботливо: «Ну, спи же, спи!» Все это занимает ее в высшей степени, и идеалисту досадно видеть безмятежное выражение женского лица, полное довольство своей работой и развлечениями, своим днем, своими окружающими лицами. Вообще с первого взгляду она очень походила на Анну Андреевну, так что все родные говорили: «Надя – вылитая мать». Но они ошибались. Она развивалась при других условиях и иначе.

Воспитание она получила в закрытом институте, но странны были ее отношения к учебной жизни. Она с первой же

минуты, как оставила родной дом, стала ждать, скоро ли конец ученью, — только тем и дышала семь лет. К месту своего воспитания, к начальницам и наставницам, даже к подругам, по крайней мере к большинству их, Надя относилась холодно, вспоминала об ученье как о тяжелой необходимости разлучиться с родным гнездом и прожить в огромных, казенного характера комнатах много-много времени, под надзором девствующих дам тоже казенного характера, к которым она питала положительную антипатию, за что дамы и ненавидели ее. Когда кончились семь лет и все, прощаясь, плакали навзрыд и давали клятвы вечной дружбы, Надя тоже плакала, обнимая двух подруг, которых она серьезно любила; ей как будто жалко стало детской жизни. Но это чувство быстро сменилось другим. «Домой, домой!» — думала она. В то время когда лицо ее было освещено этой радостной мыслью, одна классная дама, самая укусная, прокислая дева, проходя мимо Нади, невольно прошептала: «Экая каменная»; а сердце у Нади не было каменное, оно трепетало от детского волнения. Вернувшись домой, она сразу легко и свободно отдалась домашней жизни. Немногое переменилось в семье. Братья и сестры подросли, отец постарел немного, да Егор Иваныч не такой молоденький, каким был прежде; но и эти перемены не могли поразить ее; они совершались незаметно и на ее глазах, потому что родные и даже Егор Иваныч постоянно посещали ее в институте. Молотов был знаком с Надей еще тогда, когда ей был всего девятый год, а ему де-

вятнадцатый. Егор Иваныч, вернувшись из губернии в столицу на новую службу, не застал Нади дома, она уже училась. Он стал вместе с Дороговыми ходить к ней в гости. При нем, отчасти под его влиянием, она выросла, кончила курс и развилась. Дома Надя в первый же день увидела Егора Иваныча. В семье Дороговых он был почти как свой; все обращались к нему запросто и бесцеремонно; он точно не гость, его не стараются занимать; иногда он возьмет газету, читает целый час, и никому нет дела до него; ходит по всем комнатам, знает, что где лежит, берет, что нужно, без спросу; с ним советуются часто отец и мать по хозяйству; когда помер маленький брат, и он был печален. Это короткое знакомство, установившееся в продолжение нескольких лет, произвело то, что Надя взглянула на Молотова будто на родного. Он будто жил с ними: то гимназист просит его объяснить по математике, то Федя — сделать петушка, то играет он с отцом в шахматы; случается, он и люльку качнет, когда мать уходит в другую комнату, а Надя чем-нибудь занята. Этот обжившийся в их семье вечерний посетитель, как человек бывалый, любил рассказывать; говорил он хорошо, ровно, не торопясь, и чего он не знал, чего не видел, где не бывал? — о чем угодно спросите, на все есть ответ. При этой короткости знакомства Молотов, кроме того, без всякого желания со своей стороны, приобрел в семье Дороговых положительный авторитет. Дело было после Севастопольской войны, всюду появилось новое, неведомое до тех пор движение. Но иной

не поверит, что у нас есть слои общества, в которые очень смутно проникали сведения о настоящем положении вещей. В этих слоях общества понимали, что тяжело жить на свете, душно, — это само собою чувствовалось; но отчего тяжело, откуда ждать спасения, что делать надобно — этого никто не знал. И вдруг заговорили о таких предметах, осуждались такие лица, развивались системы, читались книжки, передавались рассказы о старой и современной жизни, так что многие совершенно растерялись и не знали, что и думать. Одним из таких глухих кружков была и семья Дороговых. Много, что известно нам, читатели, по счастью, по случаю, по особому положению в обществе, по столкновению с людьми сведущими, — для Дороговых вовсе было неведомо. Люди мрака в то время испугались, люди света торжествовали, люди неведения, как Дороговы, ждали каких-то потрясающих переворотов. Тогда увлечения эти представлялись совершенно в ином свете, неже такой человек, как Молотов. Он был для них единственным человеком, который мог объяснить явления новой жизни. Его слова сбывались, и поэтому даже Игнат Васильич, несмотря на свою оригинальную манеру убеждать, привык верить ему до того, что когда Надя обращалась к нему с вопросами, на которые он не знал, что отвечать, тогда обыкновенно говаривал: «А вот спроси ужо у Егора Иваныча». Ни с кем так легко не говорилось Наде, как с Молотовым. Склад его ума, казалось Наде, так подходил к складу ее ума. У Егора Иваныча не было обыкнове-

ния поддразнивать женщину, подсмеиваться сладенько, нарочно спорить с нею – в чем многие полагают эlegantное отношение к дамам. Особенно ей нравилось в Егоре Иваныче добродушие его; она скоро заметила в нем ту черту, которая осталась в нем смолоду, – он во всем отыскивал искру божью и любил приникать к доброй стороне жизни. Надя была еще ребенок, а уже понимала, что Молотов чем-то отличается от всех окружающих ее людей, и ей хотелось разузнать этого человека короче. Молотов доставал Наде книги, объяснял их, проводил с нею вечера. В воспитании Нади осталось много пробелов. И жизнь и наука в ее учебном заведении были выдуманы, построены искусственно и фальшиво, заперты в стены институтского здания. Сквозь окна, окрашенные зеленой и желтой, больничных цветов, красками, не много она видела, хотя и справедливо, что институт дал ей образование, какого она дома не получила бы. За это образование она и была благодарна – но кому? не той или другой наставнице или учителю, а вообще месту воспитания. Надю мучила несколько совесть, что она дома редко когда вспоминала особенно тепло об институтской жизни. Узнавши, что умерла начальница их института, Надя легко и притворно вздохнула, полагая это себе в обязанность, подала поминанье и забыла свое напрасное горе. «Неужели я в самом деле каменная?» – думала она, и с своими сомнениями она попыталась обратиться к Молотову. Молотов легко рассеял ее сомнения, показав, что ее холодность очень естественна и со-

всем не преступна.

Молотов из рассказов Нади и из собственных наблюдений довольно близко знал институтскую жизнь и порадовался за Надю, что она была холодна к этой жизни, хотя и не протестовала против нее с ненавистью и горькими жалобами, а даже упрекала себя в бесчувственности. Под влиянием рассказов Надиных Молотову невольно приходило в голову, что многие наши дамы давно приготовлены к эмансипации последнего предела, что их пора посылать на службу в полки и департаменты. Говорят, это не в женской натуре, а по нашему глубокому убеждению – ничего, можно! хоть в повытчики, в хожалые, на пожарную каланчу! С первого взгляда такое суждение представлялось, правда, чересчур рискованным. Приличие, благочиние, опрятность в институте были доведены до последней степени. Например, когда учитель истории, читая лекцию, привел текст из летописи, где упоминались «поганые ляхи», то ему сделали строжайший выговор за «поганые». Он оправдывался, ссылаясь на летопись; а ему отвечали, что эта летопись дурного тона и что читать ее не следует. В видах смягчения нравов девицам позволялось петь песню «Что ты жадно глядишь на дорогу» только до слов: «Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь; будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть». Начальница была так высококонравственна, что в великом посту приказала отдельно развести кур от петухов, хотя потом и сердилась, зачем это нет

к пасхе домашних яиц. Как, неужели и это Надя рассказала Молотову? Нет, это не она рассказала ему, хотя, не скроем, Надя и все ее подруги знали оный фокус благочиния и знали многие другие вещи, которые совершались у них и о которых рассказывать было крайне щекотливо. Читатель сам увидит, в чем девушка шестнадцати лет могла быть откровенна и в чем нет. До того доходило, что когда одну десятилетнюю воспитанницу отец ее посадил к себе на колени, то со строгим замечанием, что это дурной пример другим, ему запретили делать подобные вещи. Девиц предупреждали, чтобы они не позволяли своим дядям, братьям и даже отцам целовать себя, потому что это... как бы сказать?.. ну, неприлично, что ли. Могло ли быть что-нибудь безнравственное там, где благочиние кур и петухов, каждая строка летописца и писателя русского и даже отцовский поцелуй находились под полным контролем старой девки, готовой заподозрить во всем ужасы? При всем этом в институте процветала филантропия на самых широких основаниях. Одна классная дама постоянно разыгрывала вещицы в пользу одного бедного семейства, о котором только и было известно, что ему покровительствовала сама начальница института. Билеты должны были брать учителя и девицы. Что же разыгрывалось? А вещи, жертвуемые тоже учителями и девицами. Кто их выигрывал? А выигрывали наставницы – не всё ж учителя да девицы. Некоторые дети, и, как назло, всегда почти любимые Надею, затруднялись платить за билеты и жертвовать коврики, пресс-папье,

серьги и т. п., тем более что этим расходы ребенка не ограничивались: должно было делать подарки начальнице, наставницам и другим лицам в дни именин, рождений и больших праздников. Между тем, заметьте, в том же институте, в приемном зале, набито на стену объявление, которое гласит, что родственники ни под каким видом не должны давать детям деньги или вещи для подарков кому бы то ни было. Когда принцип только на стене, поневоле в честных и добрых душах детей возникает разлад с окружающей жизнью, но большинство девиц как-то не раздражались всеми этими явлениями пошлости. Так, та же классная дама, любительница лотерей, имела обыкновение просить у своих воспитанниц денег в долг, разумеется без отдачи, и многие с радостью отдавали свои деньжонки, зная, что через это приобретают протекцию у поваляки-дамы. Но беда было бедным детям или таким оригиналкам, как Надя, которая всегда сочувствовала своим безденежным подругам. Таких называли жадными, преследовали на каждом шагу, привязываясь к манерам, походке, голосу, взгляду, ко всякой тесемочке на платье, височку на голове, пуговке на рукаве. Их ожидали выговоры и наказания за всякую мелочь, – и какие наказания? Бурса не создавала; в бурсе – карцер, а здесь – лазарет. На провинившуюся девицу надевается рубашка сумасшедших, с рукавами вдвое длиннее против рук, после чего руки складываются крестом, а рукава завязываются под спиною, и в таком виде несчастная кладется на кровать больной. Случалось, что та-

кому наказанию иных подвергали в продолжение пяти и более дней. В это время в пищу шла полуторакоепечная булка и габер-суп. Может ли быть что-нибудь обиднее этого? Может, и было именно в том же институте. Было немало девиц, которые постоянно протестовали против своих вторых матерей, не готовили уроков, портили рукоделья, грубили и смеялись над заведенными порядками, так что их не укрощала даже и рубашка сумасшедших. Таких протестанток отделяли в особую комнату, без различия возраста и классов, оставляли их на собственный произвол, не читали для них лекций, не следили за их поведением. Отторгнутые от общества подруг, находясь в презрении у наставниц, бедняжки дичали и делались мстительны. По полугоду и более содержались некоторые таким образом. Впрочем, впоследствии этот род наказания был уничтожен, нравы смягчились, и, к удивлению, из заключенных большинство заняли первые места. Кто бы мог подумать, что девичья школа – этот рассадник поэтических существ, невинных созданий, о котором и мы имеем такие невинные, девственные понятия, – мог выработать в себе такие оригинальные явления в жизни? Не диво, что Надя встала в стороне от этой жизни и ждала, дожидаться не могла, скоро ль настанет пора вернуться под кров родной. Родители, когда она им жаловалась, говорили ей: «Что ж делать, терпеть надо», и такие наставления, разумеется, не могли примирить ее с окружающими лицами. Она терпела, уединялась, вела себя осторожно, следила за каждым своим

шагом, чтобы, избави боже, не попасть как-нибудь в рубашку сумасшедших, и ни разу она не попала; но злые люди чу-тьем чуяли, что она боится и не любит их. «Но отчего же она с подругами не сошлась?» – спросят нас. Да как же было и сойтись, посудите сами? Замкнутость жизни, удаление от общества, отсутствие интересов общечеловеческих – создавали искусственные, фальшивые, институтские характеры. Так, здесь было развито в высшей степени так называемое *обожание*. Это не дружба, не каприз, не игра детей, не передразнивание старших, – это фальшивое развитие возникающей потребности любить, развитие, неизбежное в закрытом заведении, и от этой беды не спасет даже куриное благочиние и смягченные дамскою рукою летописи. Обожились учителя, посетители-гости. Случалось, что девице нравился отец, брат или другой родственник, посещавший ее подругу, и она обращала все ласки и любовь на эту подругу, если только она немного была похожа на своего гостя. Обожились, наконец, девицы мужественные лицом, высокого роста, имеющие громкий голос, твердый и отважный характер. Девица обожающая хранила на груди ленточки обожаемой, целовала книги и тетради, к которым она прикасалась, ее целовала с наслаждением, пила оставшуюся после нее в стакане воду, писала любовные письма, назначала ей свидания на коридоре или в спальне. Если обожаемая девица не отвечала на любовь, то обожающая плакала, томилась, видимо страдала и худела. Бывали случаи, что человек по двадцати волочили

за одной девицей. Страннее же всего то, что сами наставницы, спасающие куриную нравственность, сами доставляли возможность своим любимцам, большею частью дающим в долг или имеющим влиятельных родственников, видаться и говорить с обожаемыми учителями. Вот в этот-то период обожания многие из девиц, желая казаться интересными, – а некоторые по какому-то болезненному расположению организма, – ели мел и уголь, пили уксус и чернила, сосали штукатурку, кирпичные кусочки и грифеля... Во всем этом было очень мало божественного, неземного и очень много так называемого исключительно институтского, созданного почти отрешенною от общества жизнью. И сколько из этого рассадника невинных созданий выходило бледненьких, тоненьких, дохленьких барышень, с синими жилками, выражающими ненужное страдание, от чего они становятся так обидно для них жалкими. Между тем многих ожидала суровая, необеспеченная жизнь, и всех – иная действительность; а их окружала деланая, фальшивая среда. Надя, вообще развивавшаяся медленно, еще не чувствовала потребности любить и потому не была в положении своих подруг, которые, не находя правильного исхода чувству в запертом наглухо институте, на глазах девственных воспитательниц выделяли все вышеозначенные штуки учебного амура; но она все понимала, хотя сам читатель догадается, что она могла рассказать Молотову и что не могла. Но Молотов и без ее рассказов знал, что она умалчивала. Он легко успокоил ее тре-

воюющую совесть, и она через полгода забыла свой институт — точно и не жила в нем.

Но период непонятных стремлений, туманных мечтаний и волнений в той или другой форме развивается в жизни всякого человека. Если не испытала этого Надя в школе, то испытала дома. Но многим семнадцатый год Нади покажется непоэтичным, хотя и с примесью даже институтского элемента, только в более изящной форме. Она, задумываясь по-детски о будущем, слегка мечтала и о женихе; жениха она представляла чем-то вроде папаши, разумеется, помоложе; задумывалась она тогда ненадолго. Когда Надя подросла, у нее стал формироваться более определенный образ жениха, о котором она часто думала и за шитьем, и читая газету, и лежа в постели: то был чиновник, молодой, добрый, любящий свою жену и дом, получающий большое жалованье и хороший хозяин. По ночам и за шитьем этот образ выяснился — он имел рост и звук голоса, с ним часто разговаривала Надя, и у нее вышло две жизни — одна действительная, другая мечтательная, — обе жизни были полны. В мечтательной жизни, которой она отдавала большую долю своего существования, у нее было свое хозяйство, свой муж, даже о детях она думала, — тогда-то вдруг вспыхивало ее лицо и становилось задумчиво; у ней свои гости, она принимает их, разговаривает с ними, просит садиться, играет для них на фортепьяно, готовит им чай и закуску. Иногда думается ей: «Вот муж захворал», а не то: «Крест получил». Какая девица, играя

мыслью, не была прежде брака замужем? Но так играют дети, венчают друг друга и поют: «Исайе, ликуй!..» Скоро и незаметно наступила другая пора жизни, пора полного расцветания. Стала она рассеяннее, ее грудь наливалась, появились непонятные сны и после них тайные слезы, по девичьей душе прошли неведомые доселе движения, разрешавшиеся бог весть откуда родившимся вздохом. Она что-то разлюбила свое фантастическое хозяйство. Когда выдуманный муж являлся в ее воображении, она прогоняла его, и муж, вместе с хозяйством, чаями и гостями, стал являться реже и реже и, наконец, совсем скрылся где-то этот надоевший и опротивевший образ. Поневоле вспомнила Надя подруг – неужели и она обожала? Ей хотелось целовать канарейку, цветы, мраморные статуэтки и картины... Тревога пришла и кипучая жизнь... Боже, как она любила, как страстно любила, и сама того не зная... Кого же?.. Непременно – кого?.. просто любила!.. Полная и действительная любовь, с поцелуями, объятьями, клятвами, со всем счастьем и горем, бывает для избранных, а неизбранные что-то во сне видят похожее на объятья и поцелуи, а наяву чувствуют лишь жар жизни и широту души. Для многих любовь проходит этим внутренним путем, помимо мужчин, женихов и мужа. К ней кто-то сходил по ночам, стоял в ее изголовье, и, вставая, она плакала и счастлива была несказанно. Сумерками долго она сидела в зале, сложив руки, глядя на улицу и ничего не делая. Трудно понять было, как этой девушке не скучно. На-

де же казалось, что вдруг все как-то особенно и без видимой причины полюбили ее; примечала она надолго остановившийся на ней взгляд матери, отец стал целовать ее чаще, дети около нее увивались. «А Коля где?» – однажды она спросила маленьких братьев и сестер, и так хорошо, ласково, задумчиво спросила, что дети кинулись к ней на шею, стали ее целовать, она их целовала и весь вечер тот пропела... Все существо девушки было ясно, чисто и счастливо... Прошло еще немного времени. Мало-помалу горячая жизнь стала остывать, струны, высоко натянутые, упали, показалось, что все стали холодны к ней, появилось дурное расположение духа, какая-то темная мысль кралась в сердце. Она затосковала беспричинно, но не плакала больше. Мать первая поняла, что нужно было Наде. Скоро в доме Дороговых появился чиновник и предложил Наде руку. Это был чиновник молодой еще, с крестом, получал хорошее жалованье и водки пил мало – рюмку перед обедом и две рюмки перед ужином. «Маменька, я не пойду за него», – сказала Надя. Мать долго уговаривала ее, доказывая все выгоды предстоящего брака; а дочь упростила отца, и Игнат Васильич решился отказать жениху. «Помни, Надя, тебе скоро будет осмнадцать лет», – сказала Анна Андреевна. Бог знает с чего брак показался Надежде Игнатьевне какой-то службой, долгом, повинностью, точно опять отдавали ее в институт. Она усердно молилась богу, чтобы хоть на время отдалить брак... Началось усиленное чтение. Она читала большею частию романы

и повести, из которых в институте слышала одни невинные отрывки. Лицо ее горело от свободных, поэтических страниц; все, что есть у нас лучшего, прочитала она в это время; Тургенев сделался ее любимым поэтом. Многие страницы, один раз прочитанные, с того времени остались в ее памяти навсегда... Хорошо читается в эти годы, и славное это время!.. Ясное, свободное счастье горело на ее лице, когда она, сидя за шитьем, увлекалась бессознательно и повторяла в воображении чудные картины природы и любви, созданные нашими поэтами! Если в действительности нашей многим не приходится любить – запрещено либо не удастся – и в грядущем предвидится лишь обязательная любовь, то пусть эти многие хоть над книгами поживут – и задумаются, и поплачут, и улыбнутся счастливо. Иначе скучно жить на свете; одной прозой прожить невозможно... Но проза неизбежна... Часто лицо Нади над самой пламенной страницей переменило выражение, становилось совсем другое. Оно показывало, что Надя соображает, рассчитывает что-то и обдумывает; и действительно, в одну из таких минут она поняла... она поняла, что такое хлеб насущный, что родители хотя и любят ее, особенно, как казалось ей, отец, но не век же им кормить ее, пора искать Наде брачной жизни, как чиновник ищет места, лошадь – корму... Мерзко стало на душе ее и страшно. Книга была закрыта, и на обложку легла дрожащая от волнения рука... Она не заплакала... Что-то суровое и холодное отразилось в ее глазах. Она встала с нервным дви-

жением, глубоко вздохнула, взяла книгу и надолго положила ее в комод... Поняла наконец, кто она такая... Как в то время она боялась женихов, как их ненавидела!.. Всякий раз, когда появлялся в доме незнакомый мужчина, Надя думала с замирающим сердцем: «Не он ли?» – и прибирала в голове слова, которыми она станет упрашивать отца и мать, чтобы они не торопились пока с замужеством ее... Через полгода жених явился, и Надя едва не вышла замуж, – так ей трудно было уговорить и мать и отца, который теперь не держал ее сторону. Больших слез и упрасиваний стоил Наде этот отказ, но все-таки она отделалась от жениха, хотя и чувствовала с стесненным сердцем, что может прийти третий, четвертый, что много их на свете и что раз от разу ей труднее будет выпроваживать их. Чего же она ждала? не в девах же она хочет остаться? Она сама не знала, чего хотела; но натура ее была так чиста, что инстинктивно она берегла сердце для того, кого полюбит, а не для первого встречного, рекомендованного отцом. Она не родилась для обязательной любви... Опять потянулось время среди занятий домашних, но теперь как-то скучно и вяло, день за днем, по-черепащьи... Не было ни радостей, ни печалей. Надя стала удаляться отца и матери; сидя с ними же, сделалась особняком. Ее никто не упрекает, по-прежнему с ней ласковы, сама мать заботится о ее здоровье и удовольствиях; но скажут ли, что ныне все дорого стало, дети подрастают, или что у Лены Рогожниковой, Саше Касимовой женихи есть, так и подумается Надежде Иг-

натьевне, что ей пора искать корму, пора! В таких случаях ей никто и ничего не намекал, она это хорошо знала, да из самой жизни вытекал такой, а не иной смысл. Гостю делалось с ней скучно. И говорит, и хозяйничает, и потчует Надя, как всегда; как всегда, ласкова и внимательна, а все что-то не то, скучно, души нет... Она опять вернулась к книгам. Но чтение уже не давало ей, как в былые дни, страстного наслаждения книгою. Она критически стала относиться к каждому образу, к каждому положению действующего лица. Жалко было смотреть на нее, когда она с сомнительной усмешкой пробегала те живые строки, которые прежде так увлекали ее. Ни с кем она не была откровенна; лишь с одним Егором Ивановичем она говорила о том, о чем с другими говорить не решалась, ждала его всегда с нетерпением и, когда он не приходил, была особенно скучна и задумчива. Даже в те вечера, когда Егор Иванович не успевал перемолвить с нею слова, она все-таки была довольна его присутствием, чувствовала что-то успокаивающее при взгляде на него. Если же он говорил с Надей, она в речах его почерпала непонятную для нее силу. Никто ей так дорог не был, как он. Нравственная связь с окружающими родными была надорвана, а знакомых было мало, да и тем она не доверялась. Надя была уверена, что, случись с ней какое-нибудь большое горе, Молотов всегда поможет ей; случись, что она сделает дело, за которое ее все осудят, он ее не осудит, и если бы даже должно осудить, то пожалеет и помилует. Добрее и умнее Егора Ивановича она

никого не знала. Положение ее было укреплено условиями, которые не давали ей взглянуть на то, как живут люди за стенами родного дома; один только Молотов мог рассказать ей о иной жизни, — и вот это не институт, не старорусский терем, а заколдованный семейный круг столичного чиновника! Это тот же терем, только нынешнего времени. Отчего ж не петь и до сих пор: «Я у батюшки в терему, в терему, я у матушки высоко, высоко»?.. Но и с Молотовым, что очень естественно, Надя вполне откровенна еще ни разу не была. Разговор всегда заводился о предметах, только побочно, а не прямо относящихся к ее тайным мыслям. Все, что говорил Молотов, служило для нее только данными, на основании которых она сама выясняла и проверяла свои скрытые в душе думы, и потому в разговорах ее всегда было более содержания и серьезного смысла, нежели сколько казалось с первого взгляда. Такое искусство говорить невольно приобретает в тех обществах, где запрещается многое обсуживать ясно, просто и открыто. Но эта сдержанность, робость высказаться, напрасная стыдливость понемногу ослаблялись; откровенное слово само собою рождалось, когда обстоятельства заставляли Надю искать решения того или другого вопроса. Молотов чувствовал, что Надя недоговаривает, что у ней есть дума, которая томит, беспокоит, стесняет ее молодую жизнь. Он не посягал на откровенность Нади, но день ото дня хотелось ему узнать, что такое делается с ней, и день ото дня хотелось Наде узнать, что такое за человек Егор Иванович. Он так, казалось

ей, не похож на других. Когда она была еще маленькая, пришел откуда-то и стал почти жить с ними этот вечерний посетитель. Ей хотелось разгадать и добродушие его, и ласковую насмешливость над увлечением, и его многостороннее знание. Она думала, что в жизни он знает бесконечно много такого, о чем с ней никогда не говорил, думая, что она не поймет его, и как ей хотелось расспросить обо всем, обо всем на свете, чтобы догадаться, додуматься наконец, что же ей делать и как жить на свете. В последнее время в Наде стало развиваться религиозное направление. Долгие разговоры велла она по этому предмету и через несколько времени почувствовала, что под влиянием Молотова просветлела ее вера, легче стало ее сердцу, когда оно, еще неиспорченное, легко освободилось от многих предрассудков; но Надя спрашивала себя: «Верует ли он?» – ответа не было. Надя не знала, как в нынешний век веруют люди, и в этом отношении Молотов так был непохож на всех, кого она знала.. Один только Череванин, художник, выделялся из их круга, но он редко посещал их. Несколько раз Надя порывалась поговорить с Молотовым о женихах, любви и браке, но всякий раз что-то ее сдерживало. Так и плелись дни за днями, без всяких внешних событий, «в терему да в терему», куда едва проникал жизненный луч света, пока не наступил Наде двадцатый год.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.